

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Сталеварскую куртку
домой я принес.
Подивилась жена:
— Что за чертова кожа?
Говорят, мол, огонь,
а тут видите ль, ворс...
Ни на что не похоже!
А когда уходил, на спецовку мою
так уныло она и светло
посмотрела,
словно я находился в ненужном
бою.
— Значит, взялся за дело?
— За дело!
Я кварталами шел, кои были тихи,
и подумал словами большого поэта:
—...Что стихи!
Нынче многие пишут стихи.
Но не главное это!
Пусть прошел сквозь нервных
редакций дым,
на алтарь возложил
утомленные нервы.
На висках у друзей
синева от зими...
Не последний, не первый.
Здравствуй, мой дорогой!
Ради бога, гуди!
Каждой гайкой своей содрогайся!
Ведь и сердце, еще не остыло
в груди...
Возвращайся!

Р. ДЫШАЛЕНКОВОЙ
СМЕНА

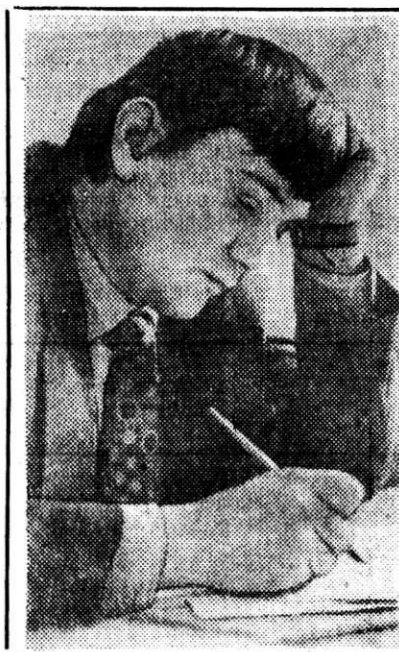
Утонувший в ночи по колено,
озаряемый лунным огнем,
город спит.
Но качается смена
в колыбельном трамвае своем.
По каленым, накатанным рельсам,
год за годом к сердцам городов
бесконечным заботливым рейсом
едет смена для добрых трудов.
С неперменным своим
«Беломором»,
с прибауткой, лихой на подъеме,
с откровенным своим разговором
да с обеденным мятым рублем.
На Магнитке, в Кузнецке,
в Тагиле,
с молодых незапамятных пор
едут люди, простые такие,
и о важном ведут разговор.
Разбирают по полочкам время,
поднимают вопросы ребром...
Или врежут под самое темное,
или выдадут молча «Добро».
Поразмыслить бывает не лишне
о себе, о жите, о бытие:
Достается и прошлым и пришлому,
а своим — по особой статье.
Мысли ясны и сжаты, и цепки.
Среди всякой хулы и похвал
ты вернее и чище оценки,
видит бог, никогда не знавал!
Хорошо, бескорыстно, степенно,
повсеместным триумфом труда
проезжает рабочая смена.
И мерцают в ночи города.

Налетели туманы на город,
третьи сутки жиреет куржак.
Третьи сутки по солнышку голод,
и туманные думы кружат.
Из житейских каких переплесков
родилась ты, проклятая боль!
Ты застыла, как память
на фресках,
ты вошла в свою хваткую роль.
Сбавил шаг — наступает на пятки
непоседливо прожитый день...
— Все в порядке, — молчишь.
— Все в порядке...
А на сердце — сомнения всклень.
Что ж ты, славный туманистый
город,
поволокой своей не закрыл?
Види: грозами сумрак расколот,
и пригнулся к земле чернобыль.
И опять маета по беспечным,
занесенным снегами углам,
по дорогам земли бесконечным
и морзянке родных телеграмм.

Адреса, голоса и улыбки
налетели, порушив покой.
И качается память, как в зыбке,
далеко за чертой городской.

В ТЕРМИЧКЕ

Я видел экскурсантку, ученичку,
что пробиралась между кирпичей
в обход палящих пламенем печей
сквозь газом отдававшую
термичку.
Какие чувства тронули ее,
какие мысли посетить сумели,
когда на задыхающемся теле
досадно взмокло тонкое белье?
Она беречь устала башмачки,
остановилась и забыла злиться,
уже спокойней взглядывая
в лица
и в печи из-под крохотной руки.
Все оставалось прежним, но при
ней



Александр ПАВЛОВ,
вальцовщик листопрокат-
ного цеха № 1, член Сою-
за писателей СССР.

Возвращение

работа шла невидимо и споро,
словам горячим не было простора
у смиренных и покладистых парней.
Плыл вечер за высокою стеной.
И, странной власти женской не
утратив,
девчонка в тесном розовеньком
платье
светилась в цехе мягкою луной.

ЗНАМЯ

В распахнутой, поблекшей
гимнастерке,
сдавлив эфес, лечу во весь опор.
Святая была!
Ты в памяти не стерта,
ты в юном сердце бьешься
до сих пор.
Мы вместе мчали в яростном
разгоне
сквозь дым разрух, в отчаянье
атак.
Храпели кони, боевые кони,
и молодость врезалась в бугорак.
У свежего кургана знамя свесив,
клочка земли врагу не уступив,
с тобою вместе, мой далекий
сверстник,
я хоронил товарищей в степи.
Нас жгли живьем и звездами
лучили,
нам лбы крестили шашкой и
свинцом.
С тобою вместе мне билет
вручили,
товарищ мой, оставшийся юнком.
Ты пал в степи под знаменем
простертым,
я подхватил его и до сих пор
в распахнутой поблекшей
гимнастерке,
сдавлив эфес, лечу во весь спор.

Нет! Мы застолий мудрых не
сидели
и голоса не драили, как медь.
Мы так на мир, на боль и грязь
глядели,
как подобает дворникам глядеть.

Чтоб, зная каждой мусоринке
цену,
за крохотным большим увидеть.
Искать все ту же вечную
вакцину,
найти и на себе же испытать.
Метельщики, врачи и трубочисты,
мы открываем души для плевка
затем, чтоб следом шли —
и было чисто.
Пускай дорога наша нелегка!
И пусть на нас порою пальцем
тычут,
и пусть порой пророчат тупики.
Ведь мы из тех, которые
не хнычут,
когда уходят годы вдоль руки.
Мы вольных птиц по рукам
не держим,
пусть сетует на это птицелов.
Тревожны сны, несбыточны
надежды,

и бесконечно откровенье слов.
А если так, то что нам остальное!
Да здравствуют ухабы и дожди!
В глазах круги от бешеного зноя,
и лютый холод свищет впереди.

Дома, дома...
Балконы в поднебесье.
Стекло, бетон да юркие таксы.
И новые мы поднимаем песни,
и те, что раньше пели на Руси.
И как бы в нас не отражалось
благо,
как ни гудел бы времени набат —
в глазах все та же светится
отвага,
которую запомнил супостат...

Тревожен мир.
Он до поры спокоен.
Он только дремлет в грозном
клубке.
И время, словно самый древний
воин,
сжимает меч в карающей руке.

Ясно помню: сердце ныло.
Помню все, что с нами было —
нет, не ерунда!
Я любил, и ты любила.
Я забыл, и ты забыла.
Это ль не беда!
Было слово в тайной силе.
Мы его произносили
с трепетом и без...
Отсорили, изнашили
это слово в тайной силе,
павшее с небес.
Было пусто, было больно...
Подневнольно?
Стало вольно.
Пронесли года...
Я доволен.
Ты довольна.
Вольно?
Стало подневнольно.
Это ль не беда!

Откуда это на меня свалилось?
Не думал, не гадал.
И вот беда —
тревожно сердце шалое забилося,
как в самые невинные года.
А над горами ходят низко тучи,
в окно стучится старая сосна.
Я быть бы мог добрее, чище,
лучше,
таким же безупречным, как она.
Но галстук алый далеко-далеко,
за перевалом отшумевших дней.
Да, было больно, горько и
жестко,
и все это на совести моей.
А ты опять летишь желтоволосо
среди красивых домиков и дач.
Ты входишь в мир отважно и
курносо,
как я входил, бродяга и рифмач.
Как велико соединенье это —
земли и неба, леса и любви.
Проснется память посредине лета
и навсегда поселится в крови.
Осыпана ромашками лесными,
клубничкой спелой и слепым
дождем,
хранящая твоё простое имя
и хрупкий облик, и случайный
дом...
Но будет день, и я припомню
снов,
когда в дороге схлынет забытье,
ненастье, куртку, что с плеча
чужого,
и это чувство новое мое.

ВЕЧЕР

Кто не почувал обреченность,
подметя в круге толчеи
наивную непринужденность,
замашки юные твои?
Совсем нетронута и ново
ты не грустила в уголке,
для всех отчаянно готова
черкать затейливо паркет.
Для недотепы и нахала,
для всех, кому не привелось,
простая кофточка порхала
в лучах некрашенных волос.
Для всех легко и бездосадно
в глазах, где плыли облака,
светила искренняя жадность,
не приглушенная пока.
А кто-то взглядом липким жалил
и раздраженно отмечал,
как деликатно плыл рижанин
с тобой, распахнутой речам.
Зато другой смотрел не часто,
ему по сердцу пролегла
граница грустного контраста,
что ты собою создала.

Наконец-то боль проходит.
В жизни кончилась зима.
Все-то складно, ладно вроде...
Только горь от ума.
Долгим вечером семейным
непорочен мой досуг.
И ругнуть себя не смею,
ложка валится из рук.
— Все прекрасно, если в меру, —
ходит верная молва.
Как же мне принять на веру
эти мудрые слова?
Все прекрасно!
Благоденствуй!
— Как живете? — спросишь сам, —
ваше бодрое степенство,
преподобный Александр?
Все докурешь, все долюбишь,
только, братец, не спеши...
Видно, плохо, если рубишь
поперек своей души.

...И листья падали, скользя
в слепом, малиновом закате...
И в полночи светилось платье,
и под окошком тополь зяб.
Прощанье вылилось в гудке...

И дым покачивался сизо,
и дом с потресканным карнизом
остался где-то вдалеке.
Блестел погонами мундир,
дожди шептали мне о чем-то...
Из-под твоей пушистой челки
глаза кричали на весь мир.
Как много времени прошло!
Мне даже кажется порою,
Что не встречался я с тобою,
не говорил осенних слов.
Но только помню я всегда,
как листья падали в закате,
и в полночи светилось платье,
и с неба падала звезда.

ИРОНИЧЕСКИЕ
СТИХИ

«Стукнул по карману —
не звенит.
Стукнул по другому —
не слышать».
Николай РУБЦОВ.

Я хотел самолетом уйти
к самым верным друзьям,
но в кармане
обнаружилась вошь на аркане
и сказала, мол, нету пути.
Что ж ты, старая, мелешь!
Ужель
все дороги сегодня размыты?
Укачу на упряжке ужей,
кораблем обернется корыто.
Ни к чему пассажирский билет:
Я живу, словно город на сваях.
Положений безвыходных нет,
разве... надписи в гулких
трамваях.
Нас учил домовитый сосед,
так, что в горле звенело железо:
— Раз пятнадцать отмерял,
как след,

но и то не сподобило резать.
Думать надо! И там уж рубить.
А горячку пороть не пристало...
И решил я, послушав устало,
про науку соседа забыть.
Что житейская мудрость его!
Словно хата в запорах и с краю.
Эту мудрость в себе не таскаю,
и не хуже других.

Ничего...

Добрый словом помянут вдали
те, кому я протягивал руку,
те, кого обнимал на разлуку
посреди необъятной земли.
Ничего, что пустует карман!
Я любому скажу откровенно:
то, что вошь посадил на аркан —
это суетно, временно, тленно.
Нас всегда выручала мечта,
и вела по колдобинам сказка.
Было знобко, тревожно и тряско,
но виднее была красота.
Так в стремлении яростном жить,
лишь последние схлынут

снежинки —
выползают на солнце ужи,
открываются в тонах кувшинки.
Бодро ставят плотину бобры,
мирно трудятся в чащах
медведи...

С добрым солнышком!
Будьте добры,
преподобные наши соседи.
Войт волки по лютной зиме
и лоснятся по сытому лету...
Кто-то спросит: в своем ли уме?
Что за дикость берешь на
примету?

У природы свои жернова.
В этой мельнице четко отлажен
ход работы, где каждый отважен,
всякий винтик незыблем и важен,
и любая былинка жива.
Растворяется малая капля
и с потоком летит в океан.
На лягушку находится капля,
а на цаплю — проворный гурман.
Равновесие грозного мира,
безупречная даль бытия...
Но уверенней поскрип кормила,
и несется до жизни ладья.
По туманной и пенистой рани...
Что за проза — дыривый карман!
Беспокоится вошь на аркане,
и шумит за кормой океан.